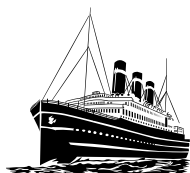




Иван Бунин
—
Господин
из Сан-Франциско



Москва
2024

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б91

Оформление серии *С. Костецкого*

Бунин, Иван Алексеевич.

Б91 Господин из Сан-Франциско / Иван Бунин. — Москва :
Эксмо, 2024. — 448 с. — (Яркие страницы).

ISBN 978-5-04-201327-0

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) – безупречный мастер русской прозы, первый русский лауреат Нобелевской премии (1933).

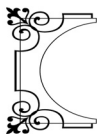
Рассказ «Господин из Сан-Франциско» представляет собой притчу, повествующую о ничтожности богатства и власти перед лицом смерти. В центре повествования американский миллионер — до конца рассказа мы так и не узнаем его имени. Он решил устроить себе отпуск и едет на пароходе отдыхать в Италию вместе с семьёй. Сбудутся ли его мечты? Или судьба решит распорядиться по-своему?

В сборник также вошли повести и рассказы о психологии русского человека, уходящей жизни дворянских усадеб, нравах русской деревни и, конечно, любви. Любовь в произведениях Бунина всегда завершается утратой. Возможны лишь мгновения любви — и неизбежное разрушительное падение, когда разбиваются идеалистические юношеские представления при столкновении с реальной жизнью.

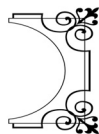
УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-201327-0

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2024



ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ



Из воспоминаний детства

Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...

— Митя!

— Митька!

— Дмитрий Алексеевич!

— Бледнолицая собака!

— Да вставай же ты, наконец!

Я уже проснулся, но старался показать, что страшно разоспался и не понимаю, в чем дело. Натягивая всеми силами на голову одеяло, которое тащили с меня Петя и Лева, я только мычал и брыкал ногами. Но они не унимались и, спрыгнув с подоконника, на котором сидели (влезли они из сада в окно), остановились около кровати.

— Вот какой ты! — пробормотал в нерешительности Петя. — Что с ним делать? Мы пропустим зарю...

— Уйдем, — своим обыкновенным, резким и отрывистым, тоном сказал Лева. — Он не товарищ, а баба, старый колелый лось! Влепим по кулаку и уйдем!

— Я, брат, так влеплю, что ты... умрешь! — неожиданно крикнул я, приподнимаясь и взмахивая кулаком так, как будто в нем что-нибудь было. В эту минуту мне казалось, что я необыкновенно грозен и дик.

Но Петя и Лева, к удивлению моему, разразились самым добродушнейшим хохотом и протянули мне руки.

Я, немного сконфуженный, пожал их, хмуро и нехотя, и опять упал на подушку.

— Ну, идем же, идем! — сказал Петя. — Мы в самом деле пропустим зарю.

Это было сказано так искренне-серьезно, что я сам испугался мысли пропустить зарю. На что нам была эта заря, для чего мы друг другу давали слово стеречь ее — я, право, теперь хорошо не объясню. Но тогда я думал, что это необходимо. Нам ужасно нравилось выходить из дому чем свет, когда еще и деревня, и темные поля, и далекий густой лес объаты мертвым сном и только на востоке небо покрывается серебряными, светлыми полосами. Тогда нам казалось, что мы совершенно одни и в свежем полутемном лесу действительно все таинственно и первобытно. Мы, как настоящие индейцы, забирались в самую чашу сада и, дожидаясь восхода солнца, садились в кружок и курили «трубку мира», или, иными словами, трубку, утащенную у моего дяди. И хотя я был уже лет двенадцати и отлично понимал, что все это игра, и даже совсем детская игра, но мне она так нравилась, что я не мог не наслаждаться ею.

Поэтому я сейчас же вскочил и стал натягивать чулки.

— Солнце ведь еще не взошло? — спросил я торопливо.

— Ты бы дрыхнул до обеда, — ответил Лева, — да потом бы и спрашивал.

«Пугает! Не так уж и поздно», — подумал я, подходя к умывальнику и ежась от утренней свежести, которая плыла в открытое окно.

Холодная струя воды заставила меня еще больше вздрогнуть и окончательно проснуться. Торопливо умывшись, я был уже готов к походу. Мы должны были отправиться нынче в дальний путь, в самый конец большого луга, который был у нас за садом. Там начинался лес, и широкий луг переходил в узкие овраги, каменистые и изрытые весеннею водою. Сегодня мы намеревались выкурить там последнюю «трубку мира», чтобы распрощаться до лета. Был последний день пасхальных каникул, и дня через два я должен был ехать в Орел, в гимназию.

— Берите же, — скомандовал Лева, — поскорее луки.
Мы сейчас же надели луки и вылезли в окно на росистую траву сада.

Солнце еще только всходило. На траве лежало холодное матовое серебро росы, но по дорожкам земля уже отсырела и почернела. Светлый, зеркальный пруд слабо дымился. Но отражения высоких, стройных осин были еще неподвижны и ясны; соловей особенно звучно щелкал в молодой зелени. Утро только начиналось.

Мы шли вниз, к пруду, по широкой береговой аллее. Лева был предводителем. Он всегда любил быть первым, любил командовать нами, хотя и был моложе меня и Пети года на два. Выглядывал он еще совсем мальчиком; коротко остриженные белые волосы торчали на макушке; сложение было еще совсем детское. Но, несмотря на это, он постоянно старался казаться большим, вечно сдвигал брови над бегающими и дикими, как у зверька, глазками и хвалился, или, точнее сказать, не хвалился, а искренне воображал, что он необыкновенно силен. Брови он сдвигал главным образом для того, чтобы казаться грозным; при игре в индейцы, когда мы назначали, кому кем или чем быть, Лева выбирал себе всегда роль какого-нибудь особенно кровожадного краснокожего; называл он себя постоянно «Черной пантерой», смеялся и дразнил Петю, когда тот, в какой-нибудь стычке с мальчишками, раненный, садился и горько плакал и т. д. Но в душе Лева был все-таки очень добрый и чуткий мальчик; по уму — очень сообразительный и бойкий. Петя, напротив, был мальчик, которых можно встретить на каждом шагу.

Мы шли мимо пруда. Лева уже несколько раз сбежал к воде и изо всей силы бил палкою лягушек. Он уже вспотел, покраснелся и измазал грязью, по своему обыкновению, руки, сапоги и штаны. Петя больше любовался природою.

— Что же, ты приедешь на лето сюда, к дяде, или уедешь к отцу? — спросил он меня.

— Непременно приеду сюда, — ответил я.

Лева обернулся в эту минуту и вдруг разразился самым веселым смехом.

— Чего ты? — в один голос спросили мы.

Лева продолжал хохотать.

— Я, брат, все знаю, — проговорил он наконец.

— Что ты знаешь? — удивился я.

— Про Сашу-то!

Я почувствовал, что моментально покраснел до самой шеи. Лева попал в самое больное место: я был в это время «страшно», как мне тогда казалось, влюблен в Сашу, его двоюродную сестру. Она обыкновенно проводила каникулы у отца Левы, так что, мечтая приехать на лето, я имел в виду единственно ее.

— Какую Сашу? — не зная, что сказать, спросил я и сам почувствовал, что сказал страшную глупость.

— Зачем ты лжешь, как старая баба? — вдруг строго перебил меня Лева. Глаза у него засветились, как у зверька, брови сдвинулись.

— Что я лгу? — спросил я тоже строго.

— Ты лжешь, что ты не знаешь, про какую Сашу я говорю, — отчеканил Лева, — а сам влюблен в нее...

Я моментально схватил лук с плеч и трясущимися руками наложил стрелу.

— Нет, ты лжешь! — закричал я, уже совсем растерявшись. — Я вот тебя сейчас...

Но Лева перебил меня:

— Я давно знал. Я не хотел говорить Пете... А вот теперь скажу... Только она уже вчера вечером уехала... Выкуси... А если хочешь выходить на бой — становись.

Лева тоже разозлился. Глаза бегали, щеки покраснелись.

— Не хочу я с тобою драться, — сказал я, всеми силами стараясь казаться спокойным. — А только ты сам дурак! И я не хочу больше с тобою идти.

С этими словами я повернулся и пошел опять в сад.

— Да на меня-то за что ж? — жалобно закричал Петя.

Но мне показалось, что они оба заодно хотели меня огорчить и сконфузить. «Братцы», — подумал я и потом, не оборачиваясь, крикнул:

— Подите вы к черту!

Итак, обстоятельства сложились весьма плохо: вместо мирной прощальной экспедиции вышла ссора, вместо окончательного свидания с Сашей — весть о ее отъезде, или, иными словами, — о разлуке с нею до самого лета. Я говорю «окончательного» потому, что думал перед отъездом улучшить минутку, чтобы объясниться с нею. Правда, уже раз я с нею объяснился, но тогда это как-то не вышло. Мы встретились у них в сенях; я покраснел, почувствовал, как будто кто-то провел мне по волосам ледяною щеткою, ероша волосы; я даже не сказал «здравствуйте». Несмотря на то, что Саша была старше меня года на два, я постоянно ее конфузился. Она сама протянула мне руку.

— Что это вас давно не видно? — спросила она.

— Нет, я был недавно, — сказал я, — вы меня не видали.

— Вы, должно быть, были в саду?

— Нет, я и в доме был.

Саша засмеялась вдруг так звонко и мило, что я сразу ободрился, хотя и не понял, чему она смеется.

— Вы, должно быть, в шапке-невидимке были?

— Нет, в своем картузе, — сострил я и окончательно смешался.

— Ну как же я вас не видела? — добивалась Саша.

— Да вы всегда не хотите меня видеть.

— Как это не хочу?

Но я уже не слушал ее и, чувствуя, что мне становится все жарче и жарче, продолжал:

— Я не знаю, за что вы меня так не любите? Мне кажется...

— Вам бог знает что кажется, — перебила вдруг Саша, краснея, тихим и ласковым голосом. — Я, напротив... я даже во сне вас почти каждый день вижу...

Но в эту минуту загремели чьи-то дрожки, и Саша, быстро дотронувшись губками до моей щеки и моментально вспыхнув, исчезла за дверью.

Не успел я еще прийти в себя (у меня даже дух захватило от радости), как уж кто-то застучал по лестнице. Я нахлобучил картуз и, засвистав, что обыкновенно делал, чтобы скрыть неловкость, быстро сошел с лестницы, встретившись с приехавшим приказчиком, и через сад убежал домой.

Припоминая все это с особенной грустью и нежностью, я сидел один-одинешенек в гостиной. День был теплый, солнечный. В пустом доме (дядя с утра уезжал в поле, прислуга была на кухне) было всюду безмолвно и светло. На балконе дверь была открыта, и из сада иногда залетали пчелы и бабочки. Ветерок осторожно колебал молодую зелень березок. В саду кричали петухи, и как-то особенно весело, по-весеннему, раздавался их крик в этот апрельский солнечный день.

В раздумье я иногда вставал и подходил к открытой двери балкона. Прислонившись к притолоке, я глядел вдоль по березовой аллее, где из свежей рыхлой земли и из-под прошлогодних листьев торчала ярко-зеленая травка; я чувствовал какой-то неясный садовый аромат, слушал музыкальное жужжание пчел, гулкие удары валька на пруде, — и все нежнее и поэтичнее становилась моя тоска. Мне казалось, что я еще никогда не был таким молодым и прекрасным и вместе с тем таким одиноким и печальным. Я глядел в далекие поля, которые открывались с правой стороны сада, и невольно повторял с поэтом:

Что звенит там вдали, и звенит и поет?
И зачем эта даль неотступно зовет,
И зачем та река широко разлилась,
Оттого ль разлилась, что весна началась?

«Что звенит там вдали, и звенит и поет?» — спрашивал я себя с особенною грустью. В ответ на это на глазах выступали слезы, и, стараясь скрыть их, я опять шел бродить по освещенному солнцем безлюдному дому.

— Что это ты сидишь, как шалелый? — спросил меня за обедом дядя.

Я едва мог ответить: моя нежность и поэтичность была оскорблена самым грубым образом.

К вечеру мне стало еще грустнее. Я ушел в поле, дошел до леса и лег на опушке. Лежа на своей шинели, я долго мечтал, до тех пор пока над стемневшими полями не засветилась серебряная звездочка — Венера.

Возвращаясь, я решил непременно съездить на другой день в город. Лева и Петя уже теперь там (они уехали перед вечером), и можно выдумать, что я к ним за книгами — за латинской грамматикой, например. А между тем можно увидеть Сашу, хоть еще раз поговорить, просить писать и т. д.

Подумав это, я почти повеселел и заснул спокойно. Но судьбе было угодно, как говорится, распорядиться иначе.

Дядя у меня был совсем старик — лет под шестьдесят. Человек он был очень странный и в высшей степени серьезный, по-солдатски исполнительный, аккуратный и строгий. Причиной этого была, главным образом, его долголетняя военная служба где-то в гарнизоне. Образования он не получил почти никакого и по выходе из военной службы поселился навсегда в деревне одиноким холостяком. Имение у него было небольшое, но средства прекрасные: он вел спартанскую жизнь и был неутомимый хозяин; в прежнее время он даже косил сам. Я у него любил гостить, разумеется, единственно из-за того, что в той же деревне на каникулах жила Саша.

Рано утром (дядя вставал до зари) я заявил ему о своем намерении.

— Что ж, поезжай, — сказал он.

— Только на какой же? — спросил я.

— Этого я уж не знаю.

Я запнулся. Дядя всегда любил такую манеру разговаривать.

— Я на чалой поеду, — наконец выговорил я.
— На чалой я поеду, — ответил дядя.
— Значит, на «лысой кобыле»?
— Я поеду парой, а ты знаешь, что разъездных лошадей весной у меня только две.
— Ну как же быть-то?
Дядя улыбнулся.
— Ну как же быть-то? — повторил и он. — Значит, надо ехать со мной.

«Ехать с дядей!» — уж одно это огорчило меня. Но делать было нечего. Я поскорее собрался, потому что дядя не стал бы ждать ни минуты, и через полчаса мы уже ехали в город, сидя вдвоем на телеге, высоко наваленной соломой.

Не стану подробно описывать наше путешествие, жаркое, знойное утро, облака густой пыли на большой дороге и несносно медленное движение за обозом, который мы нагнали. Обоз был очень длинный, и дядя, любивший всегда медленную езду, не стал объезжать его. Пахнущие дегтем телеги были тяжело навалены кулями муки и запряжены седловатыми, огромными, но ленивыми меринами. Возчики, сидя на грядках, дремали, и казалось, что им совершенно безразлично, когда они доберутся до города. Только на одной телеге сидел мещанин, похожий на борзую собаку, и всю дорогу ругался со стариком, ехавшим сзади. Но старик, сутуловатый, толстый, с маленькими глазками и громадной рыжею бородой, по-видимому, ругаться умел очень плохо, и брань выходила вялая, так что не разгоняла скуки.

— Посмотрим, долго ли ты продержишься у самого-то, — говорил мещанин, выплевывая подсолнухи и болтая ногами. — Посмотрим!

— Небось! — отвечал старик злобно и хрипло. — Небось! Уж если тебя, мошенника, держат..

— Меня-то будут держать! — перебивал мещанин.

— Все этаких чертей держат, — возражал старик.

— «Чертей», — передразнивал мещанин гнусливо, — «чертей»! Слезь, дьявол, высморкайся! Загундосил.

— Сам высморкайся! — повторял старик.

— Енот, дьявол! — не унимался мещанин.

Старик страшно обижался, вскакивал и кричал:

— Я не енот, а крещеный человек! Ты сам енот!

Но мещанин опять перебивал его...

Часов в десять утра (до города было верст двенадцать) мы, наконец, добрались и остановились на постоялом дворе.

Дорога, впрочем, не произвела на меня особенно неприятного впечатления. Думая, что часа через два я буду видеть Сашу, грациозную, веселенькую Сашу, я мало обращал внимания на все неудобства и на неприятности дороги. Но на постоялом дворе дело пошло хуже. Еще въезжая в ворота, дядя заметил, что под навесом на телеге лежит прекрасно отпоенный теленок, и сейчас же закричал его хозяину, сидевшему тут же:

— Дядя, что это привез продавать — бычка или телушку?

— Да, — флегматично ответил мужик.

Дядя после этого замолчал и, когда мы слезли с телеги, неизвестно куда скрылся. Я уже успел надеть воротнички (прифрантился) — его все нет. Я бросился, наконец, искать. Забежал в комнаты, где несносно заливалась канарейка, посмотрел еще кое-где — нету. Иду к телеге — навстречу мне дядя, а за ним мужик тащит к нам теленка.

— Купил теленка, — сказал мне дядя. — Ты тут посиди около него, а я схожу кое-что купить.

Меня даже в жар бросило.

— Как? Теленка караулить? — чуть не со слезами возопил я. — Что ж это такое?

— Что ж тут такого? — перебил дядя строго. — Конечно, караулить, — утащить могут. А сходить ты еще успеешь, я сейчас приду. Значит, посидеть можно. Если же неприятно — не ехал бы. Да и не поедешь уж отсюда — пешком, брат, попрешь, если не посидишь. Понял?

Что тут было делать? Тогда мне казалось, что дядя так строг, что легко может исполнить подобное обещание. Чуть не со слезами уселся я около проклятого теленка.

Жду.. Проходит час — дяди нет. Телег наехало видимо-невидимо. Под навесом пахнет навозом, жара, духота. Просто смерть моя! Теленок лежит как околелый: глаза дурацкие, стеклянные, связанные задние ноги вытянуты, бока вздулись.

«Хоть бы околел, анафема!» — думаю я с тоскою, поколачивая его кулаками в бок. А обида, тоска все разрастаются.

Опять жду. Проходит еще час. В злобе, со слезами на глазах я, наконец, вскакиваю с твердым намерением уйти и бросить теленка. В это время показывается дядя. Сзади него мужик тащит новое колесо, мешок мелу, несколько «подвой» (железные прутья для сохи) и еще что-то в кулечке.

Я бросился к дяде:

— Что же это, дядя, ты до сих пор?

— Заговорился с знакомым мешанином, — спокойно ответил дядя, — да вот и опоздал. Нам пора бы теперь в дороге быть. Поскорей запрягать надо.

— Как — запрягать? — едва мог я выговорить. — А я-то?

— У меня дела посерьезней твоих, — отрезал дядя. — Не забивай глупостями мне голову. Я все равно сейчас поеду, а за книгами к Пете мы можем заехать.

Я прикусил губы чуть не до крови и побрел к калитке.

— Хорошо же! — вскрикнул я в порыве злобы и отчаяния. — Хорошо же! Уйду, непременно уйду! — И, прислонившись к калитке, я заплакал. Поплакав, я несколько успокоился. Я поглядел красными глазами по пыльной улице и вдруг почувствовал, что мне уже нисколько не хочется видеть Сашу. Теперь все равно свидание с нею не могло быть таким светлым моментом. Мне казалось, что в душе у меня не осталось уже ни капли любви.

Я махнул рукой и, хмурясь, влез на телегу. Но, влезая, я подумал, что все-таки не худо бы хотя на минутку поглядеть на Сашу, хоть попросить бы писать мне... Мы тронулись.

— Я забегу хоть в женскую гимназию, — начал я, — и скажу Саше, чтобы она передала Пете о грамматике. А он теперь еще в классах.

— Так мы поедем туда, — сказал дядя.

— Да нет, мужская гимназия на другом конце города, далеко.

— Ну все равно, — согласился дядя. Видимо, на него нашел «добрый стих».

Доехав до угла, за которым была женская гимназия, я попросил дядю остановиться и с бьющимся сердцем, одергивая блузу и поправляя воротнички, побежал к гимназии.

В швейцарской я погляделся в зеркало и нашел себя хорошеньким: должно быть, от слез и волнения лицо стало нежного цвета, на щеках играл румянец, глаза светились темным блеском.

— Можно видеть, — робко спросил я у швейцара, — ученицу третьего класса, Александру Брянцеву?

— Подождите пять минут, — сказал швейцар.

Я стал ждать. Мне стало снова весело и легко на душе. Про то, что дядя ждал меня на углу, я и забыл думать.

Резкий звонок заставил меня вздрогнуть, и сейчас же вслед за ним наверху и внизу коридоры зашумели и загудели молодежью. Саша сбежала ко мне еще более милая и изящная в своем простеньком платьице.

Смушенно и радостно улыбаясь, я подал ей руку. Около нас толпилось человек пятнадцать ее подруг, и потому мы отошли к самым выходным стеклянным дверям.

— Когда же вы едете? — спросила Саша.

— Завтра, — сказал я, то расстегивая, то застегивая пряжку пояса. — Зашел проститься... Вам хоть немного будет меня жалко?..

Саша покраснела и хотела что-то ответить... Но вдруг стеклянные двери открылись и вошел... дядя! Я обмер.

— Что же ты тут, ночевать, что ли, остался? — сказал он сердито, стоя передо мною с кнутом в руке. («Как мужик!» — мелькнуло у меня в голове). — Ждал, ждал тебя! Наконец решился подъехать сам.

— Как подъехать? — возопил я и глянул через стеклянные двери... О ужас! Перед самым подъездом стояла наша телега с колесом в задке и с теленком посредине! Не помню, как я пробормотал что-то Саше о каких-то книгах, как вышел из гимназии и влез на телегу. От стыда я не знал куда деваться. На подъезд выбежала целая толпа гимназисток.

Саша хохотала, глядя, как я, с трудом оттолкнув теленка, уселся на грядке телеги, свесив ноги.

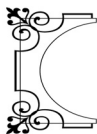
— Я тебя в другой раз выпорю, если ты будешь так же лгать, — бормотал дядя, усаживаясь на телегу.

И, как на позорной колеснице, потащил меня со двора гимназии. Теленок, перепугавшись, бился и мычал. Гимназистки хохотали. Я сидел как во сне, как в чаду..

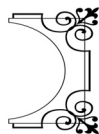
Вечером того же дня я ехал на вокзал. В детской измученной душе было как-то пусто. Я уже, конечно, и не думал когда-либо быть у дяди и видеть Сашу.. Молча я лежал на телеге. А вечерняя заря была так поэтична и задумчива... Мы ехали прямо на запад. Вдалеке передо мною медленно меркнул свет заката. В теплом стемневшем воздухе уже чуялась душистая свежесть росистых степных трав и цветов. Изредка доносился откуда-нибудь из «ночного» звук колокольчиков на жеребятках, и опять все смолкало. Все более и более погружались в какие-то тихие думы и придорожные хлеба, и вся молчаливая степь, по мере того как темнела весенняя полевая ночь...

1890





ВЕЛГА



Слышишь, как жалобно кричит чайка над шумящим, взволнованным морем?

В туманной дали, на западе, теряются его темные воды; в туманную даль, на север, уходит каменистый берег. Холодно и ветрено. Глухой шум зыби, то ослабевая, то усиливаясь, — точно ропот соснового бора, когда по его вершинам идет и разрастается буря, — глубокими и величавыми вздохами разносится вместе с криками чайки... Видишь, как бесприютно вьется она в тусклом осеннем тумане, качаясь по холодному ветру на упругих крыльях? Это к непогоде.

День с самого утра хмурится. Здесь, на этом неприветливом северном море, на его пустынных островах и побережьях, круглый год ненастье. Теперь же осень, а север еще печальнее осенью. Море угрюмо вздулось и становится темно-железного цвета. Издали необозримая равнина его кажется выше берега, она уходит в туманный простор на запад, а ветер все быстрее гонит с запада волны и далеко разносит крик чайки.

— Кри-э! — жалобно и пронзительно звучит по ветру.

Утром она беспокойно и криво летала над самым прибоем. Море непрерывно крутящимися валами окаймляло берег. Здесь оно, налетая на него с грохотом и шумом, рыло под собою гравий, там, как кипящий снег, рассыпалось с шипеньем и широко взлизывалось на берег, но

тотчас же скользило, как стекло, назад, подпирая собою новый крутящийся вал, а вдали расшибалось о камни и высоко взвивалось в воздух. И далеко гудел берег от прибоя... Чайка с криком бросалась между волнами, плавно скользя по воде в их ухабы, выносилась на новой волне до высокого гребня и взлетала вся в брызгах и пене. Ветер вольно носил ее низко над морем.

Но потом она словно устала. Надвигается ненастный вечер, и бессильно качается чайка по ветру, все дальше уходит, белея в тумане, от берега в море... Слышишь, как жалобно раздаются ее радостные стенания?

Вон она уже еле-еле виднеется в сумраке. Быстро спускается темная бурная ночь; чаще и чаще мелькают в море седые космы пены. Шум прибоя растет, ледяной ветер вздымает и бешено срывает волны, разнося по воздуху брызги и резкий запах моря.

— Кри-э!.. — доносится откуда-то издалека, снизу.

Слушай, я расскажу тебе, под шум бушующего северного моря, старую северную легенду.

I

Было это давно, в незапамятное время.

У холодного северного моря жила молодая и сильная Велга. На закат были воды, на восток — песчаный берег, близко за селением сходящийся с небом. Что было там, к востоку, Велга не знала и не хотела знать. Она никогда не ходила к востоку. Не ходил и отец ее, не ходила и мать, не ходила и старшая сестра, Снегар. Они знали только море.

Возле моря прошло детство Велги. Быстро прошло оно, и весело было ей в детстве! Зимой, когда море только под самым краем неба чернело волнами, а у берегов было покрыто белым снегом, Велга спала в мягком гагачьем пуху и, просыпаясь, видела перед собой живой свет очага среди темной и низкой хижины. Летом, когда светит солнце, дует теплый ветер и вода легко плещется в море,

Велга искала на песках яички зуйков и плавунчиков или бегала к прибою, ложилась ничком на берег, а волны с шумом обдавали ее... Так забавлялась она летом, и всегда с Велгой были Ирвальд и Снеггар.

Толстая Снеггар часто смеялась и пела, да не умела она так звонко кричать и так смело кидаться в шумящее море, как Велга. Но Ирвальд умел, и раз Велга сказала ему:

— Отчего ты не брат мне, Ирвальд? Отчего у меня нет брата, которого я любила бы так, как тебя, Ирвальд? Я бы не скучала без тебя долгую зиму.

Он взглянул на нее, улыбнулся и вдруг кинулся к морю.

— Смотри, смотри: гагара! — закричал он ей.

И они, как ветер, гнались друг за другом, убежали туда, где в прибрежных пещерах звонко раздается голос, где у берега громоздятся высокие скалы, а тяжелая вода с шумом поднимается и скользит между ними, шипит и кипит, опускаясь, и с журчаньем, струями сливается с плоского камня. Там дразнили они волны, близко подбегая к ним...

Зачем так быстро прошло детство Велги?

Все нетерпеливее проводила она долгие зимы в хижине, занесенной снегом. Стало ей четырнадцать лет, а Ирвальду — шестнадцать, и часто уходил он теперь за рыбой в море. Но зато как радовалась Велга, когда Ирвальд возвращался!

— Милый Ирвальд, — говорила она ему, — мне хочется плакать, что так долго тебя не было, и хочется смеяться, что я опять вижу тебя!

Но уж выросла и Снеггар большая. Ирвальд забывать стал о Велге. Он часто сидел возле Снеггар и глядел в ее веселое лицо. А Велга издали следила за ними. Не хотелось ей при сестре разговаривать с Ирвальдом. Но, когда он уходил по берегу к своему дому, Велга догоняла его и провожала до самого порога.

— Милый Ирвальд, — говорила она ему, — зачем ты так долго сидел возле Снеггар? Зачем горе мешает моей радости?

И стала Велга петь на берегу моря звонкие песни сквозь слезы. А когда с ней встречались подруги, она замолкала, и лицо ее становилось сурово и гордо.

II

Хижина отца Велги стояла вдалеке от рыбацкого селенья, на каменистом побережье, засыпанном жесткими песками, и в часы прилива море добегало до ее порога.

Если же прилив был в бурю, то оно хлестало даже в окна, затянутые кишками гагары. Тогда Снеггар обрывала песню, бросала в испуге работу и уходила от окон. Старая мать Велги бормотала заклятия и с тревогой прислушивалась к завыванию ветра. Но сама Велга не боялась бури. Она вместе с отцом выходила на мокрый порог хижины, скатывала на ветру сети, а потом вбегала в воду, и холодная вода, поднимаясь и опускаясь, обнимала и мыла ее босые ноги, обдавая их шипящею, серою пеной и опутывая мокрыми бледно-зелеными травами. Велга разрывала их ногами и вдыхала сильной грудью свежий, влажный ветер, поднимала навстречу ему голову, а ветер трепал ее русые волосы. Так стояла она, молодая и стройная, и лицо ее было смело, бирюзовые глаза зорко глядели вдаль. Но только птицы св. Петра носились там крикливыми стаями и по воде взбегали, распутив крылышки, на самые высокие гребни взмывающих и рассыпающихся водяных бугров.

Девушки стали называть Велгу печальною и злою, потому что никогда не смеялась Велга и не пела с сестрой за работой. Но никогда до пятнадцати лет не бывала Велга печальною и злою. Сердце ее было отважно, как у молодой птицы, и радовалась Велга на бури и море, на солнце и землю, на свою девичью свободу. Только без Ирвальда грустила она: сильно хотелось ей рассказать ему, как хорошо жить на свете.

Ирвальд давно был в море. Утомилась Велга ходить по побережью и следить за волнами: хотелось ей крикнуть через море, что утомилась она ожидать Ирвальда, что